



ПРЕДЧУВСТВИЕ

НИКОЛАЙ БОЯРЧУК

Николай Боярчук

Предчувствие

«Страта»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

Боярчук Н. Д.

Предчувствие / Н. Д. Боярчук — «Страта», 2018

ISBN 978-5-6040989-7-4

Перед вами книга Николая Боярчука – зрелого, яркого и самобытного русского писателя. Его литература – мощная, выразительная, эмоциональная, пронзительная и предельно искренняя. Творческий почерк Боярчука – многослойный, порывистый и ритмичный. В сборник включены художественные и публицистические опыты Николая Боярчука, вполне отражающие его узнаваемую стилистику. Это добрая и по-довлатовски смешная быль о мудром деде автора, в одиночку одолевшем бесов в псковской глуши; история о романтичном и никчемном самокопающемся Феде, то и дело в поисках своей единственной попадающем в Зазеркалье аномальной зоны эстонской столицы; в публицистических зарисовках «Мотиваторы» автор на правах щепетильного, беспокойного и опытного гида представляет разноликих и порой странноватых жителей современного Таллина, а завершает книгу поэтическая транскрипция Любви, которой целиком подчинено творчество автора. Произведения Боярчука – от малой прозы и ритмических композиций до крупных форм – наполнены ощущением величия и драматизма, радости и боли, предчувствия совершенства; пропитаны балтийским свинцовым ветром и акварельным восторгом сирени.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-6040989-7-4

© Боярчук Н. Д., 2018

© Страта, 2018

Содержание

Один против черта. Былица	7
Человек из керамики. Почти документальная повесть	22
Пролог	22
Про то, что похоже на хойму	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Николай Боярчук

Предчувствие

© Боярчук Н. Д., текст, 2018

© 000 «Страга», оформление, 2018

* * *

*Я ничего не хочу вам сказать нового! Кроме того, что хочу...
Я никого не собираюсь учить или обращать в какую-нибудь веру...
Я вам это покажу. На живом примере. Как живу сам. И с вами
вместе в эти же дни и часы. И веру ищу, и разбиваюсь о скалы. Я, может
быть, и умру на ваших глазах. Но! Успею прежде сказать самое важное
и самое нужное.*

*Я расскажу вам о том, что знать вам совсем и не нужно. Но
представьте, сколько я прежде прошел, чтобы узнать об этом! О нашей
с вами истории. О наших с вами чувствах. О нашем назначении. О нашем
высочайшем духе и каждой жить. О боли я много могу рассказать и о
войне. Но всего более я буду говорить о Любви! О Той, которой нет. И
которая есть. Если открыто сердце ваше и душа. А без этого и вправду
ничего нет.*

автор

Один против черта. Былица

...А где здесь поезда? Они тут не ходят давно. Вижу ржавые рельсы в зеленой густой траве. Разрушено все, и города и деревни, и все обанкротили, и не стало железной дороги...

Я вспомнил! В детстве своем деревенском сидел на высокой нашей горе Гурьяновке и смотрел, как далеко из-за синих лесов появлялся зеленый пассажирский поезд, и приближался, и пролетал не так уже и далеко от моей деревни, сразу за речушкой Барабановкой, за полем, где я, бывало, пас коров. И поезд мне тот каждый раз казался чудом необыкновенным, и люди, едущие в нем, героями какой-то сказки. Поезд мчал их куда-то в города большой и взрослой страны, исполненной чудес и приключений, праздников и музыки, и еще, конечно, подвигов. Там было все красиво. И я мечтал, что когда-нибудь так же поеду в этом поезде.

И были в моей жизни поезда и пароходы, и были самолеты, и олени упряжки, и боевые машины пехоты. И я побывал в той стране, и я там жил.

Но уже не по-детски. И однажды, не так давно, я проезжал в том же поезде мимо своей деревни, возвращаясь из той действительно сказочной страны, вкусив достаточно приключений и подвигов, ресторанов и всевозможных трудов. И смотрел уже жадно из прокуренного тамбура на свою чистую из детства деревню, и гора та уже не казалась мне большой, и Барабановка почти что высохла...

* * *

– Ахти тошненьки! Свят! Свят, свят!.. Уту, бес! – причитала моя бабка на деда, когда тот в довольно редкие минуты бывал охвачен порывом гнева и желанием как-нибудь потрепать ее.

– Змей крылатый! – кричала бабушка, метаясь по избе и, чая спасения от дедовой ярости, готова была уже вскочить на лежанку и даже на печь.

– А почему змей, да еще и крылатый? – спрашивал я бабушку позже в минуту затишья, и как раз, когда домашние мухи уже не сновали в переполохе под потолком и по всем стенам, а мирно катались, словно на коньках, маленькими лапками по стеклу старых и облупленных на рамах окон избы.

– А потушута ен бедокурит дюже! – поясняла мне бабушка. – Сильничает, спаси боже!

– И змей что ли так же себя ведет?

– Не-е, тот ишшо хуже. Но ницево, наш хоть и всполошенный, остывает быстро, – бабушка отвечала мне без особой охоты.

– А крылья у него откуда? – не унимался я, томимый познанием, истончаемый детским любопытством.

– Нетути у яго крыльив... Это дурья башка евоная! Ишь, взбеленился!

Я видел по глазам бабушки, сама она еще сердилась, и перепуг до конца не оставил ее.

А дед тем временем сидел за столом и сопел, долго скручивая из махорочки «Мишка» сигаретку. Он уже в который раз облизывал клочок из газетной бумаги, а сигаретка все не клеивалась, и мелкие хлопья махорочки просыпались на старую, выдавшую виды клеенку...

И тогда я просил своих дорогих старичков рассказать мне про нечистую силу и то, каково она вредит людям... А ее в то время в деревенских местах водилось немало.

И знал наш народ в те годы бесчисленное количество просто ужасных историй, похожих больше на небывальщину, чем на правду, хотя и в церковь ходили все исправно, и радио почти в каждой избе было.

Из него почему-то в летнее время, когда мы, городская детвора, наполняли деревеньку, постоянно звучало фортепиано, но иногда передавали «производственную гимнастику», и диктор смешным таким голосом кому-то командовал: «Руки шире, ноги вместе, начинаем бег на месте! Раз! Два! Три-четыре!» И опять звучало фортепиано.

И никто никуда в деревне не бежал. Да, и правильно. А зачем? Или, как говаривали старожилы, какого хрена?!

Вообще-то, материться – нехорошо. Это знает каждый. Я это к тому, что мы матерками всуе и без повода навлекаем на себя всякое лихо и таким образом можем собирать фон не очень благоприятный. Не надо излишне материться. Но! Мне лично мой дед говорил, что, например, от бесов только матами и можно отбиться. А иначе не отстанут, если насадают они, бывает, на человека.

Как-то дед рассказывал мне об этом подробно, вспомнив о некоторых своих злоключениях.

А было вот что. Однажды пьяный он возвращался из Печор, райцентра, очень поздно и в темноте. До деревни километра полтора ему идти оставалось. Так пока шел, его то и дело что-то сбивало с дороги: будто мешком с овсом как хлопыстнет, он и валится в большую канаву. Только он на четвереньках выползет обратно, тут же – ба-бах его по башке кто-то невидимый. Он снова в канаву катится.

А дорога там такая – проселочная, глина по краям. В общем, весь извозюкался в грязи, а потом как рассердился да как пошел крыть этих невидимок матами! Разом прекратилось все наваждение! И пошпал он прямехонько, и так до самой деревни никто его больше не тревожил. Но у самого края деревни надо было пройти Демешиных, их строения. А там, как народ сказывал, черти тоже нередко куролесили. И дед это знал.

Вот и подходит он к крайним избам, и силуэт в темноте дома Демешиных виден. Очертания деревьев просматриваются. На тебе! Стоит кто-то впереди поперек пути. Как бы человек на коне!

Дед так об этом рассказывал:

– Я иду, и он, змей крылатый, идет. Я встану, и он, гад, стоит! У меня аж волосы на загривке зашевелились! Думаю, ну все, вроде бы и дошел до дому, ан нет, и тут бесы не дают проходу...

Ничего не поделаешь. Дед мой и стал противоборствовать этому ночному видению с конем... В общем, всаднику, невесть откуда взявшемуся на его пути и сбивающему простого русского человека с панталыку.

И дед далее рассказывал:

– Я думаю, что обходить этого гада никак нельзя: лес справа и канавы еще круче, а слева – поля и поля, а там заброшенных хуторов уйма, и на каждом бесы живут и бесчинствуют. Ну, будь что будет, решил я отчаянно, и как заматерюсь на коня этого чертова... Действует получше всякого наговора.

– Деда, а как ты матерился? – спросил я его тогда зачарованный.

– А как, как? Да просто! А примерно вот так!

...И выдал мне дед на уши мои мальчишеские такую отборную брань да еще с присказкой: до сих пор ни от кого подобного не слыхивал! Столь сочно, виртуозно да замысловато, и даже мудрено в чем-то. Помню, что там было слово «едрена», а остальное забыл начисто и сожалею, что не записал в то время, да и позже, понятное дело, не приставал к нему с блокнотом и

карандашом, мол, деда, расскажи, как ты матами всех бесов потемкинских разогнал? За такого рода допрос тогда и вожжами можно было получить запросто. Крутого нраву был человек, дед мой Иван Иванович Букин!

Ну вот, у Демешиных, у их сеновала, этот бес на коне и выпендривался перед дедом, а если по звездам глядеть, то уж точно, двенадцать ночи тогда миновало. А до своей избы деду еще идти и идти. Деревня наша в то время большая была, домов и дворов много. И улиц даже несколько складывалось. Так что, если и пройдет он Демешиных, там надо ему еще пройти и Калиткиных. А у тех во хлеву Нюшка, жена самого Калиткина, как-то повесилась: ушла доить корову, да и повесилась. Вот и бесы с тех пор там завелись. А минуешь в ночной темноте Калиткиных, через двора четыре мимо Мукомола идти надо. И там не совсем все чисто.

Да! Чудный был человек этот Мукомол! И про него мне дед кое-что рассказал.

Как-то слег он в болезни тяжкой.

– Ну, кажись, пришла за мной костлявая, помирать буду! – говорит жене своей.

– Ну, раз помирать, так и помирай. Сдыхай, кобель поганый! – ответила ему женка незлобиво.

Вот он слег, дуба дать собрался. Лежал день, два. Суток четверо прошло. Его жена, Дарушка, уже и бабам деревенским оповещение сделала, что помирает у ней мужик-то. И те помаленьку завывать стали, особенно когда выпьют бражки, но это уже после обряжания, то есть когда скотину накормят, подоят, и затихнет деревня в помрачении перед очередными псковскими сумерками.

Лежал он, лежал Мукомол этот (то ли фамилия у него такая, а может, когда-то и впрямь мельником был, муку молот). Неделю пролежал. И вдруг, на тебе! Надоело ему помирать. Ни с того ни с сего вскочил. Дуба не дает болезнь мнимая. Как молодой по двору бегать стал, дрова колоть собрался и, видно, в миры иные совсем не хочет. Вот он бегаёт, значит, туда-сюда, суетится, как будто ни в чем не бывало! Тогда жена его, Дарушка, глядя на это дело, опечалилась и даже рассердилась немало. В общем, как-то удалось ей затащить мужа в избу повалить обратно в постель, то есть на одр смертный, и ну она его подушкой-то большой и накрывать! С головой прямо!

– Ой, Володька! Ради бога, не срами ты наш род! Умри как человек! Чего ты, окаянный, позоришься, по двору бегаешь?! – вопила она на него так, что и соседи слышали.

– Вся деревня смеяться будет. Раз положено помирать и пришел срок, так и помри достойно! По-человечески! – так она его подушками между делом и душит. А он еще и брыкаться пытается.

Но тут кто-то из подруг Дарушки, из баб деревенских и тружениц сельских оказался рядом. Они невзначай зашли к ней разведать, не помер ли мужик, и готова ли брага в бидоне на поминки? Они и помогли Дарушке утихомирить мужика.

Навалились как следует, накрыли подушками, он и отдал душу Богу, малость еще подергавшись ногами. А головой уже не мог. Крепко держали подушку жена и ее соседки. И не вышло позору для рода Мукомолов. Скончался мужик, как положено. Через три дня вся деревня поминки праздновала. И скорбели все неподдельно. Но с тех пор и у избы Мукомола нечистая сила завелась.

И мимо этого места надо было пройти моему деду в темноте ночной да глухотомани деревенской.

Кстати, я сам помню про этого Мукомола. Мальчишки деревенские рассказывали, что в то время они, совсем детьми бывшие, вместе с парнями, из городов понаехавшими на кани-

кулы, постоянно воровали у Мукомола яблоки, хотя у каждого и в своих садах хватало плодов. Но у него, вправду, были какие-то особо крупные, румяные и сладкие.

А еще у Мукомола коза была, ой, бодливая, и он один только и мог подоить ее...

...Мимо Демешиных деду моему, в конце концов, удалось пройти – уступил черт на коне дорогу. Да и хмель помаленьку из головы выветриваться начал.

Дед рассказывал:

– Вот, как только я обматерил его, этого х... на коне, так он помялся-помялся и сгинул. А я дальше пошел. Видал, как они могут, гады, то исть бесы?!..

Подошел я ближе к тому месту, где черт этот только что гарцевал, там раньше у Демьяновых огород был, а как сгорели они скопом в избе своей живьем, так все и заброшено стало, дорога появилась, ну, гляжу, где же стрекулист этот, что выделялся тут? Ан на тебе, на том месте уже куст стоит высоченный!

Вот какая сволочь, во что успел обернуться черт этот! От матов моих как скрутило его! Под куст, понимаешь, заделался, акации колючей.

И пошел тогда дед далее по улочке деревенской, поскольку после того как одолел Демешиных, он и вступил в черту потемкинскую, то есть в сами Потемки, как деревня эта и называется до сих пор.

И до Калиткиных уже, было, добрался. А тут перед колодцем, что на углу двух улиц, еще одно приключение случилось.

– Вижу я, кто-то в черном чего-то копошится у колодца. Ну думаю, если человек живой, то почему же мне не слышно ведра громыхания, и цепь колодезная тоже не грымит? И кому это среди ночи вдруг напиза захотелось?! Сразу понял, что и тут бесы водятся. Может, новенькие какие появились, и деревня еще про них ни чего не знает.

Но я и думаю тогда, что этого беса-новичка голыми руками возьму, а если что, то и по роже дам ему, негоднику. Нефиг колодец человеческий и питье наше чиста потемкинское осквернять!

Ну, я такой решительный и подступил к этому в черном, вроде как бы на мужика он смахивает. А сам я уже разозлен был, что всю дорогу мне кто-то мешает и все время что-то мерещится. Это нечистая сила душу мою так хитро пытается, изводит – супротив меня комедии всякие устраивает.

И только я замахнулся, чтоб врезать ему кулаком, отведя прежде руку далеко за ухо и со всего плеча, а он, чертяка, вдруг по-человечески мне голосом прищемленным и заверещал:

– Иван Иванович! За что?! Ой, ня бей мяня!

– Я решил чуток погодить, но за грудки беса еще держу. Глянул поближе в харю его, а это вылитый наш конюх Костюша, пьяный, как будто и побольше моего кривой. Вот они, черти, захотят – и в человека любого превратиться могут, как только что не по-ихнему идет или когда они характеру крепкого боятся! Обматерил я этого Костюшу, что чертом прикинулся, смачно: последними словами, на всякий случай обматерил, а вдруг он – настоящий черт? И дальше пошagal я по улице гордый. Но зря. Лучше бы от колодца пошел напрямиком, по другой улице, ну, маленько в обход, но к нашей избе все равно вышел бы!

А теперь подхожу к Шкваркиным. Чуть ли не посередь деревни я. А звезды-то на небе какие крупные да спелые! Пряма яблоки и сливы райские! И утыкано все небо ими. Но темень стоит, хоть глаз выколи!

– Деда, а откуда черт твое имя знал и отчество? – спросил я тогда, когда он мне это все рассказывал.

– А это, понимаешь, и есть главный признак чертей. Они все про тебя знают. Имя твое, и что хочешь. И сцышься ли ты под себя или сигаретку тайком покуриваешь с мальцами. Тем и берут, подлецы, тем и смущают человека!

...Здесь меня дед, конечно, поддел и смутил. Я сам нарвался по неосторожности. Лучше бы и не спрашивал. Это он, получается, отомстил мне за то, что однажды, когда приезжал к нам в Таллин, мамка положила нас в одну постель, и ночью я увидел сон, что вот, я в деревне у деда летом проснулся и побежал во двор пописать. А, оказалось, это мне все только снилось. Утром обнаружилось что постеля наша с дедом на двоих изрядно сырой за ночь стала.

– А Костюша, тот тоже знал твое имя и отчество? – спросил я, въедливый и наивный, вновь деда, на что и услышал:

– А то?! Конечно, знал. Мы же с ним еще мальцами когда-то бега ли по деревне. Это давно было, до Эстонии еще, во время царское, – дед задумался. И добавил: – Вот черти обычно под человека и любят подделаться. А захотят, и зверем являца. Спробуй потом разберись, где человек, а где бес, а где просто корова. Тут, как говорится, без бутылки не разберешься!

И дед продолжал свое повествование.

– Что такое? Мне до Калиткиных уже рукой подать, только свернуть надо налево. А по правую руку кусты такие густые. Рубить некому. За ними – изба Шкваркиных. Они померли все давно, остались только мать уже старуха да сынок ее дурковатый, Геня-рыбак, что все ходит по деревне и пританцовывает.

– Деда, а за что его, Геньку этого, рыбаком прозвали-то? Ведь рядом с деревней на десять километров в округе ничего не ловится, и рыбы нигде нет.

– А это, Колюха, ты у народа спроси.

Дед меня Колюхой называл, а так-то, если вам это интересно, я просто Колька.

– А вообще-то я вроде припоминаю, в чем дело. Давно это было: все-таки выловил Генька этот дурковатый где-то налима большого, так по деревне целую неделю ходил с ним и всем показывал эту черную склизкую уродину, а не рыбину. Его уже и гонять стали, чуть ли не оглоблями, тем более что рыбина-то протухла, конечно. Она ведь человечину ест! Утопленников, что на дне лежат, застрявши в корягах. Все они, налимы, такие! Тьфу, ни в жисть есть их не буду! С тех пор вот и прозвали Геньку рыбаком.

А про Шкваркиных что? Иду я, значит, дальше... Ну так вот, слышу, в кустах тех кудрявых что-то неладное творится! И тут бесы тоже что-то устроили. Кильдым, поди. А деревня спит мертвецким сном, как будто упились все на Иванов день. Потемкам все поху... все нипочем, – поправился дед мигом, вспомнив про мое малолетство и подумав, что хоть я слушатель вполне прилежный и смышленный, но развивать далее мои познания в великом и могучем русском языке пока что преждевременно и никак не надо.

Большим педагогом был мой дед!

Конечно, не мог он равнодушно пройти мимо еще одного бесовского места. Притом, что и до избы своей не так ему уж и долго идти оставалось. И раздвинул он кусты те дерзко, чтобы матами пресечь бесчинства очередные чертовские. Скорее всего, хмеля в нем еще немного бродило, может, потому он такой смелый и был.

– И что ты думаешь, Колюх? А там, в кустах, на тебе! Видение! Вижу саму Шкваркину старуху, а на ней с голой жопой, что даже в темноте видать, этот ейнов сын, Геня-рыбак! Вот

что бесы вытворяют! Шли бы, гады ползучие, в избу. Чего тут прямо в кустах охальничество устроили? Хотя в избе, может быть, другие бесы сидели и потому не пускали этих двоих, пуще того, на улицу выставили. Поди теперь разберись.

И как только и во что они не выворачиваются, крылатые! Скажу тебе, Колюха, не стал я материться, а как есть, перекрестился: Мать божья! Что творица!

Помню, мой дед тогда возвел очи к небу, то есть к потолку избы своей, и увидел, что потолок давно уже протекает! Желтые круги засохшего дождя на обоях, которыми и был заклеен потолок, выдавали имеющуюся где-то на крыше течь. Но дед, крякнув и поведив еще очами по потолку, как будто и там где-то затаились зловредные черти, продолжил.

– До чего обнаглели бесы потемкинские! Какие срамные виды и картины человеку, идущему мирно домой да от жисти этой паскудной уставшему, в темноте представляют! И бедокурят, что хотят. Но не в этом дело. Я оттуда быстрее, от кустов этих, думаю, а пой ду-ка я вон! То есть в сторону Калиткиных. Да не тут-то было...

А было вот что. Только он хотел от кустов тех непутевых свернуть, а на него сзади кто-то как нападет, и чуть не оглоушил. И царапает деда моего, и кусает, как кошка умалишенная. Дед помнит, что вроде бы сразу несколько бесов напали на него, и все почему-то без портков. Должно быть, что-то им дюже не понравилось. Может быть, хотели утащить моего деда с собой в места адовы.

И пришлось ему тогда дать деру, а ведь не из пугливых был мужиков. А куда бежать-то? К Калиткиным, что ли? Их домина, обитый весь черной толью с пивными пробками на гвоздях, стоял на краю оврага, что отверзся вдоль дороги и вниз под гору зиял, как пропасть.

Там внизу жили Клюковы, тоже, надо сказать, не все у них чисто было. Потому и жили на отшибе. Дед сиганул впотьмах в этот овраг, а там крапивы ядреной целый лес, так что и человека не видно.

– Затих я, как жаба, на карачках, отстали будто бы от меня бесы Шкваркиных. Не шелохнись. А горит все на мне: и руки, и шея чешуца до одури – крапива кусачая, как осы взбесившиеся, такой зудеж, хоть помирай, – рассказывал дед мне далее. – И вдруг слышу, что-то не то. Рядом со мной, может, метрах в трех от меня и тоже в крапиве, кто-то похрюкивает. Неужели барсук?! Да откуда же ему здесь взяться, в середине деревни? Может, кабан? Или порося от кого-то сбежал? Я давай прислушиваться. Нет, только «хррррр» доносится – на меня, значит, фырчит. Вот еще не хватало! Ну, помыслил, если и здесь в крапиве кто-то снашаца вздумал, то совсем одурели, значит, бесы наши потемкинские, взбалмошенные! И чего им в избах-то не сидится? Но черти они на то и есть черти.

...Стал я тогда подкрадываться и голову внаглую высунул, чтобы глянуть: экое тут диво хоронится? А сам на всякий случай матерки про себя наговариваю. Тем более, крапива, бля, язык мне уже проггла, кажеца. Гляжу, что такое? Зверь какой-то огромный лежит в овраге. Да ты таких никогда и не видывал! Темно ведь, чую, что гора, а где у нее хвост, а где морда, впотьмах не разобрать. Вот когда я и поседел окончательно. От удивления, какого еще у меня не бывало. А хрюканье это, слышу, на храп похоже. Почти как у человека, только еще и булькает.

Разобрало меня, крадусь, высматриваю. И что ты думаешь? Это ведь только бесы так и могут! Самосвал оказался. Настоящий, с колесами и с кузовом даже. Сплюнул я смачно тогда на все это, встал, как мужик культурный и честный, добрался до кабины, чтоб понять до конца

бесовщину эту, а там – вот те крест, человек живой: развалившись, спит и храпит на всю ивановскую...

Оказалось, у Лахудриных, соседей Калиткиных, сын из тюрьмы вернулся. И тут же угнал в Новоизборске самосвал, обычный ЗИЛ, замызганный цементом. Чтоб было ему на чем из деревни ездить на станцию за водкой. И вот этот-то ЗИЛ и торчал безобразно в овраге, нарытом за сто лет летними ливнями. Торчал безнадежно, так что и кран его оттуда не взял бы. А в кабине Валерка, сын Демьяна Лахудрина, и ночевал пьяным. Потому что так ему захотелось, и в доме он уже всех побил и даже мамке своей фингал под глаз поставил от отчаяния какого-то сыновьяго. А то, может быть, не давали они ему трешку на водку. Вот он и съехал в овраг, да и безвылазно. Но все равно и тут, наверняка, не обошлось без бесов.

К слову сказать, а сам Демьян утонул в местной обмелевшей речушке Барабановке. Это уже при Горбачеве случилось. Тогда много мужиков потеряла деревня от водки поддельной.

...Филатенковых дом для ночного ходока по Потемкам опасности не представлял. Здесь жила почтальонша Ульяна с детьми и тихим работающим мужиком Павлушей, и у них во дворе, пожалуй, на всю деревню у единственных стояла маленькая собачья конура, а в ней, высунув обычно мордочку, лежала добродушная до детей Тяпка.

А вот ко взрослым она относилась чрезвычайно разборчиво. На пьяного и склонного к дебоширству могла и не реагировать, пропуская его хотя бы до самого порога. А другой придет, для деревенского народа, может быть, и уважаемый, а Тяпка его так облает, что только плечами и остается пожать – и чего это она такого секретного знает про человека?

И сколько жила собачонка эта по соседству с Ванецкой-коммунистом, так при каждом появлении его у себя на крыльце она, эта Тяпка, обязательно подавала сердитый и неодобрительный голос, а если он еще и выходил куда-либо на улочку деревенскую, то и порывалась тщательно со своей стороны забора проследовать за ним, обливая, конечно, тонким заливистым лаем и даже фырканием, будто сообщала людям, в какую сторону направился этот Ванецка.

И пришлось деду моему идти в ту ночь как раз мимо жилища Ванецкиного. В Потемках к нему всегда относились с опаской, и он действительно на всю деревню был единственным коммунистом, партийным, значит.

И по этой причине хотя бы один раз в месяц ездил на зеленом велосипеде в Красные Мильцы, село от Потемков в километрах пяти, где располагались сельсовет и правление колхоза, и где, очевидно, проводились регулярно собрания партячейки. Ходил Ванецка всегда в гимнастерке, как будто герой гражданской войны. А штаны носил такие же, как и у всех остальных мужиков, обычные, от многолетних стирок выбеленные. Так вот, садясь на велосипед, он одну солпу штанов, на той ноге, что рядом с цепью и звездочкой велосипеда, как-то по-немецки бельевой прищепкой прихватывал, чтобы не зацепилась штанина.

А никто другой в деревне такого никогда не выделял, потому что некрасиво оно выходило – нога у человека не такая какая-то получалась, а как у гуся вроде бы. Может быть, за это и недолюбливали потемкинские Ванецку-коммуниста. И откуда он моду такую взял, никто не помнил.

Деду моему Ванецкины хоромы по барабану были. Он таким образом, конечно, не выражался, но рассказывал о том ночном своем приключении обстоятельно, а уже про Ванецку говорил почему-то не слишком охотно, хотя тот при свете дня, бывало, частенько заглядывал к деду махорочки скрутить да за жисть поговорить, международное положение обсудить, а если есть повод, то и бражки кружечку алюминиевую пропустить, но чтобы никто из деревенских

не заметил его пьющего и не подумал про него чего плохого. Деда он считал очень грамотным человеком, хотя и без того вся деревня его уважала.

– Да знал я его сызмальства, как был шалопаем, таким и остался, – пояснил мне дед. – Бесы попутали, ясное дело, это он после войны партийным стал, как колхозы у нас открывать стали. По избам ходили и в каждый хлев заглядывали, считали животину, каждую яблоньку записали и куст смородины, лошадей забрали у всех, на конюшню колхозную заперли, а ночью кто-то подпалил миляжек. Я, конечно, тушил пожарище – до неба сполохи вздымались. А тогда и дал Ванецке в ухо, отведя его культурно за угол. Ведь там и наш Орленок был забран и угорел с другими, а спасти не всех успели. Так Ванецка этот с приезжими по дворам и ходил, но бригадиром его на деревню нашу не поставили.

Дед мой не любил краснопятых, так он всех коммунистов называл, и рассказывал про них впечатления далеко не самые приятные.

– Когда пришли краснопятые и власть их настала, то и спортилась жизнь у народа деревенского, – деда при словах этих провел ладонью от макушки своей и через лоб, глаза, нос и до подбородка – через все лицо, так что жест его и означал полную безнадегу, значит, облом для всякого работающего и в простоте деревенской по-псковски смиренного.

– И что же, никак Ванецка этот сам бесом был?

– Куда там ему! – возразил мне дед. – Я же тебе говорю, короста, видать, давила его, он ведь самым маленьким по росту у нас был, карандашом таким, а тут повыпендриваться случай представился. Пока с краснопогонниками ходил и в кожанках еще пришлое были. А как те дальше по деревням бедокурить шли и в район сматывались, так любой мальчонка ему пенделя дать норовил, исподтишка хоть бы! А уж если из рогатки стрельнуть, так и по черепушке ему бывало, залетало.

Он мне частенько жалился и пытал: почему это его в людях никто не жалует? А я ему как есть объяснение давал, что в другом бы месте такого гаденыша, как он, давно бы голыми руками и без рукавиц даже, не побрезговали, придушили бы, да вот в Потемках народ легкий, к буйству испокон веков неодобрительный и прощать всякого привыкший.

– А что же случилось у тебя с ним тогда?

– Это, Колюха, я и сам до сих пор путем не разберусь. Да, а что заговорили-то, иду, значит, чего уже только не повидал и терпения всякого сколько вынес, вот как раз мимо Ванецки коммуниста... А его хоромы у Филатенковых сбоку. Смотрю, лампа как бы горит у Ванецки, на стол выставлена, и какие-то тени там, мужики не мужики, но точно не наши, не деревенские. Какое мне дело?! Думаю, пойду-ка я мимо сам по себе. А у Ванецки, гляжу, калитка открыта – и что такое? Стоят как бы двое, ну прямо тебе часовые! Я на всякий случай к каштану что через дорогу, прижался, поглядываю. А там, у Ванецки, расхаживают эти, значит, туда-сюда. Хлопают чего-то дверьми, шебуршат да громко так, нахально. «Никак обыск?» – подумал было. Вот и допрыгался Игоша! Это у него фамилия – Игошин, так его и прозывали раньше Игошкой. А время-то, Колюх, не комиссарское уже. Давно уже не стало комиссаров, никто по избам кроме Степки-бригадира не ходит, да и тот лишь по утрам спозаранку стучит в окна кнутом, в поле вызывает, чтоб трудодни шли отрабатывать колхозные. Ночь-то вся еще впереди, а у Игошки что-то ищут, а самого, небось, под арест возьмут. Думаю, а где же у них кавалерия или на чем это они прибыли? «Виллис», может, где за кустами стоит? Смотрю я дальше. Ба! Ведут кого-то в рубахе и на босу ногу. Через огород, значит, и как раз от Филатенковых. Как сурьезнее посмотрел, а это Ульяну, почтальоншу нашу, ведут, как на расстрел!

– Ну, деда, ты мне кино какое-то рассказываешь, как про неуловимых мстителей. Скажи, что сочиняешь?

В этой части повесть моего деда уж слишком мне показалась нарочитой и как-то не в потемкинском стиле. Про колдунов и ведьм, про чертей и чудеса, сколько помню, всякий человек в деревне что-нибудь знал, а вот про боевые действия и классовую борьбу никто ничего не помнил.

– Дык я и сам, тебе говорю, такого же мнения! – продолжил дед никак не смущенный, а еще и с большим жаром.

– А ты, может быть, мне про что-то другое рассказываешь? Сбился или нет, перепутал нечаянно?

– Я? – дед опять пристально посмотрел на меня, пожал плечами.

– А что ты так смотришь? – переспросил я дедушку, заметив его ко мне внимательность и какие-то размышления.

– Да вот, смотрю... Смышленный ты у нас, Колюха! Молодец! Человеком вырастишь!

– Коммунистом что ли?

– Тьфу на тебя! Чур-чур! – дед чуть было не перекрестил меня тогда.

– Ну а дальше-то что? Эти в самом деле солдатами оказались или все-таки померещилось тебе? И почтальоншу ведь не расстреляли – я, ты вспомни, у нее только вчера или позавчера пять конвертов тебе купил. Сам же и посылал меня к ней сходить... Ты же про чертей мне рассказываешь, а это небылица у тебя какая-то!

– Эти хуже чертей, скажу я тебе! – заявил мне в продолжение дед как ни в чем не бывало. И через некоторую заминку он рассказал кое-что, и видно то, что почему-то прежде хотел было скрыть от меня, молокососа.

...Дед, как со слов его выходит, несмотря ни на что вмешался в происходящие на его глазах события. И, как водится, и как он сам меня учил, матами со всей мочи наехал на этих привидений в форме красноармейцев, мол, фигли вы тут над беззащитной почтальоншей нашей измываетесь? А они ему ответили, что никто ни над кем здесь не измывается, а проводится здесь совершенно честное и красивое выездное собрание комсомольской ячейки колхоза «Красные Мильцы», где и осуществляется единогласным решением собравшихся прием Ульяны-почтальонши в комсомол.

– Это еще одна порода краснопятых, как бы оперуполномоченных от них, но только для тех, кто еще зеленый, для молодежи, – пояснил мне дед. – Я тогда какой уже раз перекрестился, сплюнул им, чертям, под ноги, а за Ульяну Филатенкову обидно стало и стыдно, если хочешь знать. Ну, налили они мне водочки крахтинку, а дальше я уже и не вмешивался, пошел своей дорогой, как и задумал сначала...

Короче, этот эпизод я решил сохранить в дедовом рассказе про его противоборство с нечистой силой. Хотя и сам имею сомнения в его достоверности, но для общей панорамы пусть будет, а кто читает, тот сам и определит, где да как и кто орудовал в то время в деревне нашей Потемки. Так что же про них, чертей печоро-псковских, что дальше-то было?

Мукомола дед мой прошел беспрепятственно, и материть кого-либо нужды не было. Он, говорил мне, что надоело это все ему тогда порядком, да и спать уже хотелось все больше и больше. А это, между прочим, еще один знак действия бесовского. Сморгать человека и взять его сонного – многие черти это любят.

Совсем мало осталось до своего угла деду. И казалось, чистым был путь. Еще два дома – и пришел. И померещилось деду моему будто Мишка Силецкий, синегубый, ворует у соседки

нашей общей, работающей бабенки, Полины Семисотовой, дрова, что у ней на улице и под окнами на просушку выставлены были.

«Но это он только похож на Мишу, а так-то он бес настоящий», – решил дед, ко всему готовый. И пошел на него в открытую и с самыми неприличными матами, мол, что ты тут, хер моржовый, чужое по ночам пи... значит, таскаешь и носишь?!

Впрочем, кто его знает, Мишка и сам был еще тот ворюга: то камни украдет, приготовленные к ремонту, то жердины чужие унесет от соседей. Нечист на руку человек. Ну и сила нечистая тут как тут. И вот каким макаром выворачивается! Дед рассказывал подробнее:

– Я его пристыдил, замечание сделал, так он в меня поленьями кидаться стал. Какой черт – наглым оказался и совсем бессовестным. Он много моложе меня на вид и крепче, конечно. Достать его по зубам мне было никак. Он за угол прячется, а поленья сами летают. Ну точно, чертовщина какая-то. Одна дровина мне чуть в чугунок не залетела. Так я разозлился, матами его покрыл как есть и еще раз, конечно, жестоко, но куда в темноте мне за угол суваца, где я его там поймаю? Да и шатает меня, чую, как на море, штормит и болтает... Задумал я, что утром пойду и набью морду этому Мишке: на всякий случай защищу Полину Семисотову, как протрезвею хоть немного. Но вот заноза, если помыслить хорошенько, то Мишка в это время мог мирно спать в своей хоромине. И что будет, если я припрусь вдруг бить его почем зря. Поди докажи, что он тут ночью вытворял. На всю деревню шум поднимется.

– Надо было сразу дубиной какой-нибудь или тем же поленом долбануть промеж глаз этому бесу, – вставил и я свое измышление в дедову повесть и чуть было не получил за это щелбан.

Он внимательно так на меня посмотрел, что-то прикинул в уме и ответил миролюбиво:

– Да вот не догадался... А что это за выражение у тебя такое похабное: долбануть? – поинтересовался он у меня вежливо.

Мой боевой дед и страж деревенского порядка, скажу я вам, великий был человек! Чертей не боялся. А вот что означает слово «долбануть» – для него, как я понял, это загадочным было. Но вернемся к его рассказу о войне с чертовщиной.

– А ведь и до нашей избы оставалось всего лишь мимо Семисотовой пройти. А там – наш двор. И наши колья, – продолжал дед описание событий, давно минувших. – Так что у нашей избы я этому черту рога точно сломал бы. Вот почему пошел бы я лучше тем летом сразу от Демешиных напрямиком и по другой улице, а не сворачивал бы к Калиткиным. Но бесы толкали, и я еще пьяным бымши.

И пришел дед все-таки домой. Решил напоследок на пороге избы своей ветхой скурить сигаретку. Только присел на крылечке родимом, прикурил, затяжку сделал, слышит, по правую руку, там, где раньше дом соседский стоял, опять как будто позванивает посуда. Тарелки кто-то перекладывает, гремит утварью домашней. А жилья давно уже нет, один бугор остался, поросший бурьяном, крапивой и лопухами. Но эти причуды деду моему были давно и хорошо известны. На этот раз он просто опять крепко сплюнул и обматерил сто чертей разом и всех вместе взятых.

Когда еще стоял дом соседки нашей справа, ходил мой деда к ней – разбираться с этим бесом. Он рассказывал мне, что высоченный был бес, и в овчинном тулупе всегда являлся и в треухе.

– Раз захожу я к ней, а она в углу молится без памяти. Согнулась на коленях и поклоны творит. А бес стоит у лавки и на нее насмешливо смотрит. Я ему, мол, ты чего дуркуешь здесь, Гаврила? Надо сказать, что очень он был похож на нашего старожилу деревенского деда Гав-

рилу, который давно уже помер. Раз он мне и в лесу привиделся. А тут вот, в гостях у Малаховой стоит. На меня он тогда посмотрел эдак заносчиво, скривил свой мохнатый рот, и – вон в сенцы, а там – огородами в поле и в лес! Да не просто так, а с хохотом самым что ни есть бесовским. Только и слышно было с эхом, как он хохочет и повторяет: «Дед Гаврила, дед Гаврила»...

«Подем, подем... сизый дым! Волосы чернее смолы были, стал седым!.. И старик захохотал!» – я слышал, примерно так поет Александр Розенбаум. Откуда он про это все знает, как сам не из наших же печорских? Чертей? Вряд ли. На хорошего человека похож.

Я тоже про эту соседку бывшую нашу кое-что слышал. От мальчишек деревенских и от девчонок. Малахову знали все, и в Потемках ее боялись, потому что она была настоящей колдуньей. Будучи неисправимой ведьмой, она рано поутру кувыркалась голой в росе и мяла все посева льна, а у самой волосы при этом были страшно распущены по плечам. Ее видели неоднократно идущие спозаранку на работу в Новоизборск на местный цементный завод, застилающий всю округу белой тяжелой и вязкой пылью. А когда сеяли рожь – то и в ней кувыркалась Малахова.

При Советах каждый год сеяли что-то новое, да и бросали, не очень-то и дожидаясь урожая. Так что Малахову никто не преследовал за ее бесовские убеждения, а если и появлялся в деревне участковый, да и то, чтоб поискать бидоны с созревающей брагой на лежанках в потемкинских избах. Но выжили ее, вероятно, тогда, когда стали сеять турнепс, а еще кормовую свеклу. Не стало полей, где бы ей кувыркаться. А потом и сеять перестали, а построили коровник огромный. Да и тот скоро спалили колхозники! Для ведьмы жизни никакой не стало, говорят, уехала она в Псков, чтобы там ворожить и колдовать. Но это только так говорят.

Дед рассказывал, что ее видели и позже в соседних полях, и грибников случайных она в мочило лесное заманивала. Или это уже какая-нибудь другая колдунья орудовала. А на развалинах избы Малаховой, когда убирали последние сгнившие бревна, рабочий проколол себе ногу – и резиновый сапог не помог, насквозь проколол гвоздем большим и ржавым, получил заражение крови и помер вскоре.

Вот она, колдовская сила Малаховой как отомстила за то, что выжили ее с места дремучего. И потому посуда гремела еще долго, хоть и жилья уже никакого не было, и выживать никто не стремился, и развалины одни торчали. И это прямо за избой дедовой.

– Вот сижу, значит, я, опять затяжку делаю, табачок покуриваю, ан на тебе! Как будто звенит. Вот те крест! И не посудой уже, а как бы мелочишкой! Да не так, что в кружечке нищенской, по копеечке. Горшнями сыпает, это, как зерно в мешок! А зерно то не простое, а будто из медяков намолочено. Ну, что там глядеть?! Бурьян да развалины. Мошт, это в ухе моем колокольцы? Ой, не к добру, коли так. Лучше идти, чем гадать. И для сна полезнее: еще там не хватало с бесами нашими хороводиться! Крякнул, хрустнул косточками, плечи размял и пошел поглядеть. До петухов времечки множество, и кто его знает, что ночью скрывается! Иду, значит, слушаю. Вроде тихо все. Обхожу угол-то, это как раз у Малаховой там иконы стояли, когда изба была целою. Обхожу с другой стороны, где нужник был когда-то, вот там народом дорожка натоптана. Не слышать ничего. А под ноги я возьми и глянь! Вот где страсть – от беса главного, понимаешь, посылочка!

Это все мне деда в деталях так и рассказывает. Да не буду томить, а как было, сообщу же вам.

...На тропке и у самого ее краю, почти в траве лежал старый и довольно истрепанный портфель с металлическими застежками. Именно они и поблескивали в темноте, отражая звездочки, чем и привлекли внимание деда.

– Что я тебе скажу? Нет, не то что портфелей таких у нас в деревне никогда и ни у кого сроду не было... Разве что начальство печорское с похожими портфельюшками заезжало, да и то раз в год. А то скажу, что начинен он был совсем не по-нашему, не по-деревенски, – дед на этом месте сделал большие глаза и поднял лохматые брови. – Впрочем, Колюха, я и сам тогда сомлел. Это уже когда пошел в избу и при лампе разглядеть присел, ведь интересно, что к чему и что там от Малаховой прибыло?!

– А что же ты сразу на улице не посмотрел? А вдруг там бонба или... гранаты?! – здесь мое детское недоумение имело резон, потому что было дело, я и сам в поле под кустами можжевельника вместо грибов нашел как-то... не портфель, конечно, а сразу три железных ракеты, как оказалось позже – снаряды для немецкого миномета, с какой-то войны потеряшки.

Я притащил их показать взрослым, а те от меня далеко шарахнулись и разъяснили с приличной дистанции, мол, мины могут взорваться в любой момент. Так я от страха их тут же из рук, понятно, и выронил. А они об камни, что под ногами были, и побрякались. Как попало друг на дружку... Спаси-сохрани! Никого не взорвало.

– Смекалку нужно иметь... – ответил мне тогда дедушка, это когда он про портфель мне сообщил.

– А у тебя она есть?

Деда мой задумался, а я решил не отставать с насущным для меня на то время вопросом:

– Ну, покажи мне ее. Я хоть самым краешком глаза посмотрю и обещаю тебе, честное слово, молчок, никому не рассказывать.

Деда помаялся и почему-то захотел мне дать тогда опять щелбана, во всяком случае, руку с пальцами, так хитро сложенными, мимо волос на макушке моей он пронес.

– Смекалка, Колюх, не каждому дается.

– Но тебе же кто-то дал ее? Неужели эти самые бесы потемкинские? Ну покажи, чтобы и я знал, как она выглядит?

В то время дедушку я вполне понимал: его несговорчивость и нежелание предъявить эту самую загадочную смекалку моему любопытству объяснялась житейской опаской – а вдруг я потом ее утащу, чтобы перед мальчишками похвастать?!

...В портфеле дедовом оказалось немыслимое и по тем, и по нынешним временам количество денег. Хотя, конечно, не дедов портфель это был, а черти подбросили.

– На деньжища те два дома новых поставить можно было и лошадку купить, и телегу. И до Кудыкино доехать, и насовсем там остаться. Скажу я тебе... Я Машу будить – иди с полати, гляди, что за диво у нас! Не хоче, разморенная, ети ее, муха, лень ей вставать.

Маша, понятно, это и есть моя бабушка. Ну, ясное дело, я так никогда не называл ее, да еще чтобы «ети» – это дедово все самовольство. Да, за смекалку-то что? А это деда имел в виду то, что если у вас в руках найденный портфель, да если он еще с деньгами, никогда не надо открывать его и глядеть при людях, где попало. Мало ли что?! И побить ведь могут. И в кэпээ посадить, и, вообще... С бомбой тоже нельзя спешить. Если она в портфеле – особенно. Потому деда и занес находку в избу.

А бабушка деньжата те несметные и после петухов увидела. Никуда не делись они, хотя и чертям уже засветло очень тесно жить, так в щели они все и прячутся. Ну, кто в чулан нырнет впопыхах, кто в колодец заброшенный. Иные в болотах прячутся или в трубу избенки самой неказистой. А вот чтобы в конюшне день пересидеть, на это не решаются – там, если кони остались, на работу не забранные, то и конец чертям. В пух и прах от копытцев-то лошадиных.

Так, к слову сказать, это и мне помогало не раз, когда мальчишкой я на конюшню колхозную меж камней в углу от фундамента проникал ползком. Вы не подумайте, не чертей глядеть – поискать гнездышко после курочки. То и два, и три яичка тепленьких случалось подбирать.

Это же соседские от конюшни курицы почему-то не хотели сидеть у себя во дворах некоторых. Может, сено не то, может, бесы там не давали покоя, так что в конюшню они ходить приноровились, где и шуму нет деревенского, бабьего, и зернышек от овса сколько хочешь...

Ах, да! Про деньги-то что. Ночь прошла, черти сгнули. Деду – спать, да вот как с портфельчиком?! И бабка моя нехорошо так корит деда моего, Ивана Ивановича:

– Бро, Вань! Ня надо! Куды нам с деньгами?! Жили без них, так и помирать лучше бедными, чем богатыми.

Это она к тому, чтобы нес он портфель на станцию. Отдал бы там кому положено. Но и деда мой в размышлениях. Он про это мне рассудительно все рассказывал:

– Ну, спрячешь их. А куда? В саду закопать? А надолго ли? А как бесы придут, мол, давай назад? А ты как думал?! Вилы-то у них всамделишные, а не то что на картинках шуточных. А то еще солдат нагонят, окружат население – выходи по одному! Сознавайси или расстрел!.. Кто ж в деревне после таких-то делов жить останется?!

– Ну, лежал бесовской портфель дней несколько. Вот здесь, под лавкою, – деда мне и показал то место. Знаю. Там хлеб у нас в мешке лежит буханками и две булочки. Да, это же я сам и принес недавно с Макшино, ходил в магазин, километров пять. А что не сходить?! Время летнее. Зато двадцать копеек нашел! На дороге проселочной. Это же для мальчишки в деревне такое богатство! Четыре раза можно в кино в изборский клуб сходить, фильм «Спартак» посмотреть или конфет-карандашей печорских купить – длинных и сладких.

Вот лежал тот портфель, лежал, уже и сама изба деньгами пропахла вся! И в сенях денег запах стоит. А может, и от прялки старой это. В углу кинута. Она из ладного дерева сделана, пахнет зефиром и пастилой.

Так и так, собрался мой дед, перекрестился и – на станцию. Прямо к начальнику, что почтой заведует. А для деревенских людей и нет главнее его никого, и чтобы порядочным был, не обижал и не обманывал народ. Ну и донес портфель без приключений. Правда, в холщевом мешке и еще одним мешком прикрыл – мало ли?!

– И кусты, Колюх, бывают глазастыми! – вот как сказал мне дедушка. И я вам подтверждаю, не обманул: вы сирень-то хоть раз в жизни видели?! И чтобы весной и когда вся в цветах? А запах какой?! Нет, такая красотища и чтобы без глаз – не бывает!

– А потом что? А принесли черти в деревню милицию. Солдат пока что не спешили посылать. Но кто его знает, может, на станции уже стоял эшелон. Наготове. И эта милиция по дворам давай ходить и каждого допрашивать, не слышали ли чего? А может, что видели? А может, где труп лежал? А выстрелов не было?

– А что?! Бывали выстрелы. Ворон народ в садах и с огородов из ружья гоняет, правда, изредка. А так-то нее, ницовой не видели...

Тогда чертовщина эта людям много хлопот доставила. У кого-то овечку нашли неположенную, кто-то за коровушку не так отчитался, где-то в саду больше яблонь, чем в бумагах записано. А за бидоны с брагой и говорить нечего! Всю нашли! За печками и в чуланах. На праздник престольный чуть без выпивки Потемки остались бы. Да боженька милостив, пару неделек еще в запасе у народа деревенского имелось... Ну и выяснилось. Картина такая:

– У Секретарихи племяш приезжал погостить, из кооператоров, районщиков, в бухгалтерях он. Да он и не к ней, а к Настуше здесь, Закутыхиной, повадился, на одиночество ейново гордое позарился. А у него своя жана в Печорах с детьми бымши. Да это рано тебе в чугунок ложить, зеленый еще, без понятий.

Значит, вот оно что! Боров этот, что в бухгалтерях, ходил по деревне, я видал его пару раз, толстенный такой, пузатый, в пинжачке и с белой рубахой. Как жених! Эвон, по каким

делам в Потемки повадился... Так за него милиция и спрашивала деревенских, не видали чего? Из портфелей похожего? А мужик-то и сгинул! Пропал без следов.

Дед мой, да и бабка моя ничего не сказали милиции.

– Пусть оно уже на совести начальника почтового останется. А мы-то что?!

В общем, я так и понял сразу тогда, чего бы дед мне там ни темнил. В хахлах был этот мужик-артельщик у женщины деревенской, приезжал на предмет... деликатно тут трудно выразить. А там и водочки пригубить, и туда-сюда. Ну так спьяну он портфель тот и выронил, если ночью шел мимо Малаховой к большаку на Печоры, совсем уже из ума что ли выжил? Или тоже черти носили его? Они и отняли портфель?

А дед мне объяснил тогда, что без чертей такие дела вообще-то не обходятся:

– А где деньги – там страшнее всего бесенята всякие, а есть и здоровые, бородатые, и в блуд завести гораздые, и человека погубить – для них не вопрос.

Ну, я тоже так думаю, где же это видано, чтобы кто-то по бабам гулял и мужним, тем более, да с пустыми карманами! Вот они, колокольцы, в ушах откудава!

Такие дела с развалинами и портфелем от Малаховой вышли у деда моего. И до сих пор нет концов. За кооператора того и хахла. А Настуша та – в город скоро уехала. Но не во Псков, а в Тарту. Может, тоже колдуньей была, как Малахова, или еще страшнее ее... А, может, просто от сплетен и чертей потемкинских подальше.

И хорошо, что дед мой не боялся нечистой силы, а запросто вступал с ней в перебранку. Потому и она не могла ему вреда учинить никакого. Крепким был русский мужик, мой дед. И мне, конечно, стыдно, что я однажды украл у него медаль боевую, с бронзовым профилем Сталина, и променял ее в Таллинне у пацанов с нашего двора на обыкновенную бамбуковую удочку с крохотным крючком, чтобы ловить плотвичку в озере Харку. Как пить дать, бес попутал меня тогда. Какой-нибудь потемкинский. К тому же, плотва в этом таллиннском озере Харку вся теперь, оказалось, заражена личинками. Ну, разве и этот факт – не бесовщина?

Но страдальцем помер мой дед, надорвавшись от всех этих тягостей и деревенской беспросветной жизни, и от чертовщины неугомонной в Потемках, что днем, что ночью. Вымерла, говорят, теперь деревня! Кстати, до войны входившая в состав буржуазной Эстонии. Осталось там сейчас полторы избы. Кто сгорел, кто спился, а кого бесы извели. Поди теперь перепиши всех и выясни, что да как там, в Потемках, случилось.

Ведь не один год, а чуть ли не век целый бесы там вытворяли все, что хотели. Чему и дед мой много раз был живым свидетелем. А один раз там даже змея какого-то огромного в каменоломнях поймали, метров тридцать или сто в длину и толстого, как железнодорожная цистерна для мазута. Сказывают, еще у него гребешок был красный на голове. И тогда все ждали войны с Китаем.

И говорят, вонял долго этот змей, застреленный милиционерами из Пскова, и воинскую часть тогда тоже вызывали специально. Солдаты ходили по большаку, оцепив всю местность до самого Загорья, и в Писконях у них уже танки стояли! Но, слава Богу, пронесло. И войны не случилось. И чего он, этот змей, из каменоломни заброшенной выполз, никто так и не узнал причины.

И вот что еще не забуду. В то же время говорил мне как-то дед:

– Чертей ты, Колюха, не бойся. А вот людей бойся. Нет страшнее и подлее зверя на земле, чем человек.

Это было мне страшно слышать от деда. Но он мне рассказал еще одну историю, как шел он однажды с поезда в деревню и тоже ночью.

В Печоры он ездил за крупой да за ливерной колбаской, и снетков мешок купил сушеных. И напали, было, из-за мешка снетков на него бандиты с ножиками прямо на путях, на железной дороге, что в километрах двух от нашей деревни петляла в лесах и везла людей куда-то из Эстонии в Псков и еще дальше, в глубины России.

Но это уже совсем другая история, о ней я как-нибудь вам в другой раз...

Человек из керамики. Почти документальная повесть

*Три вещи никак
не могу запомнить:
во-первых, имена;
во-вторых, лица...
а какая же третья?*

Итало Зевео

Пролог

...Никому не известный молодой человек ворочался в постели, размышляя о жизни и смерти, а полночная луна в это время таинственно выглядывала из-за шторы, освещая вокруг себя бледное небо из рваных облаков, похожее в тот момент на помятую постель. И найдя в этом что-то зловещее, человек вдруг заметил, почему он боится спать на спине и так, чтобы его руки были сложены на груди: уж больно это походило на картину его собственной смерти, а он такой молодой!

А вот живи мы тысячу лет или побольше – неужели не приелось бы?! И не захочется еще чего-нибудь такого? Положим, найдешь ты эликсир бессмертия, и что же? А сколько проклянут тебя, которым и сейчас постыло?! Хе-хе, оно и так понятно, какой ответ услышишь от людей: «Ты сначала найди, а мы там и посмотрим, что делать нам с тобой!» Умничать, лежа на диване, намного удобнее, чем в морге, на столе у патолога, и когда в тебя воткнут большой секционный нож с толстой спинкой и брюшистым лезвием.

В наше время каждый сам себе терапевт и патолог. Жизнь всегда к чему-нибудь призывает, но не всегда появляется желание отвечать ей тем же. «Я согласен на что-нибудь решительное, но только ты дай мне шанс, что это чего-то стоит и для чего-то нужно. Все дело в смысле. Есть смысл – будет и действие. А нет смысла – к чему трепыхаться?!»

Федя Чикин, а именно о нем у нас речь, боялся представить себя мертвецом. И время на его будильнике показывало второй час ночи.

«Героем стать – не так уж сложно. Но кто нас наградит, а кто злословием прихлопнет?! – парень продолжал привычные ночные и в чем-то навязчивые суждения. – Ведь тогда будут не только восторженные и приветствующие меня друзья. Будут также враги – люди, мною обиженные, поверженные, по злой воле судьбы оказавшиеся на моем пути. И лучше ль нам вызывать восторг, чем сострадание, а еще и чью-то ненависть?! – глубокомысленно вывел Федя, но тут же себя и пресек: Это все – философия для малодушных. А победителей не судят!»

...Однообразие Федю удручало. Зачем все спят, если поутру в мире будет то же самое, что и вчера? Одно и то же! А это очень скучно. И получится еще один неотвратимый день предательства. Потому что ничего не изменится, люди останутся такими же, как и прежде, – чужими друг другу, и мир – молчаливо враждебным, безжалостным, бездушным.

И в ночном безмолвии, и когда луна уже нагло вышла из укрытия и встала посреди комнаты, парень понял причину своей бессонницы: «Я не могу заснуть сегодня потому, что боюсь проснуться завтра».

И что? Нашел ответ – чего же изнывать?! Теперь ложись и спи. Не проходило. Мысли в который раз нагревали подушку, и Федя приказывал себе принять таблетку равнодушия, то

есть махнуть на все рукой и ни о чем не думать. Такое лекарство действовало медленнее, чем болезнь. Самопоедание точило силы. И он походил на бездельника, человека безвольного и просто увальня, каковых нынче много стоит в очереди за наградами и славой, но далее своих диванов редко кто продвигается. Разве что еще к компьютеру, дабы блеснуть в соцсетях и посетовать на нескладную жизнь.

В конце концов, положенный каждому человеку сон и всеобщая луна победили. Федя откинулся на измятую до безобразия подушку и забыл про невзгоды. Полетели тысячелетия, а может, всего-то несколько часов, и вдруг опять наступило утро, новый день, что, впрочем, тоже не слишком вдохновляло Федю.

В вялотекущей череде серых будней он находил свою слабинку неумение жить как-то по-другому: ярко, интересно, одухотворенно. И не открывалось приема или предложения, чтобы взять и начать жить совершенно иначе. Однажды и навсегда! Если глянуть с прищуром, он каждый день совершал побег. От самого себя. Потому и не делал ничего решительного для того, чтобы исправиться самому или изменить весь мир. А до революции было далеко. Слишком далеко.

Это чувство вины и дезертирства Федя не изжил в себе еще с юности. В сладком и горьком тумане той поры он однажды ушел из дому. И был тогда месяц июнь – сезон одуванчиков. Никому ничего не сказав плохого, он купил дешевого портвейна и спрятался в кустах на пустыре – пограничном таком участке между человеческим жильем и отрешенностью. Здесь и прежде у него было убежище. Здесь он читал Апулея и книжку какого-то итальянца, написавшего «Самопознание Дзено».

И было ему тогда всего семнадцать лет. На пиджаке с дырявыми карманами он носил значок с изображением боксерских перчаток, потому что ни с кем и никогда не дрался. Хотя, было дело: записался в секцию бокса и даже пару раз участвовал в соревнованиях. Но без успехов – он не понимал, почему нужно бить соперника по лицу и как можно больнее. И тренер, очень опытный, выбросив на ринг полотенце во втором раунде, так ему и сказал: «Лучше бы ты пошел заниматься легкой атлетикой!» После чего Федя Чикин, крепко сжав зубы, усилил боевую подготовку, стал чемпионом городского турнира в своей весовой категории, но ненадолго. На очередных соревнованиях его опять побили, ибо в нем иссяк запас спортивной злости.

А книжки про античных поэтов и психоанализ он, так сложилось, банально и нечаянно, украл в городской библиотеке. Хотя никогда ничего не воровал. А вот случилось. Уезжал как-то срочно в Псков поступать, в педагогическое училище. А библиотечное имущество вовремя не сдал. Так и жил далее. С чувством вины и стыда.

И, выпив портвейна, Федя полез в то ювенильное лето по веткам на дерево, опираясь ногами о гибкие кусты. И по лицу его, как березовый сок, сочились слезы от горя вселенского и оттого, что он никому не нужен. Вот тогда в первый раз он решил дезертировать. Он ни за что не хотел становиться взрослым. Потому что мир взрослых ему казался миром предателей. Где все дети-подростки однажды изменили сами себе, поломав розовые очки юности, то есть, поправ слишком грубо ее высокие идеалы, примерили на себя кучу самых разнообразных масок и превратились в людей ужасно фальшивого взрослого мира. И ложными тогда стали чувства, и серые будни жестоко пожрали возвышенные устремления души.

Выбрав сук на дереве потолще и чтобы повыше, Федя, качаясь на нижних ветвях, приладил к нему ремень от брюк, правда, перед этим, хмурый, изогнул пряжку, смастерил подобие петли и водрузил ее себе на шею. Обида на взрослых и отчужденность от сверстников толкали Федю быть на высоте.

Он думал, что просто проверяет возможность самой процедуры: вот так взять и молча самовольно выйти из игры. А кусты-то те слабенькие под ногами его вдруг и поехали. В разные стороны. Федя только и успел подумать, что как-то нелепо у него сложилось в отношениях с

людьми и Мировым разумом, и он повис на ремне в таком вот неприглядном расположении духа.

...Очнулся с царапинами – ссадины на лице, на руках и коленках – в тех самых кустах под деревом. Рядом в помятой траве валялась пустая бутылка портвейна. На шее свисал самодельный галстук из ремня, который, оказалось, лопнул от Фединога веса как раз на дырке для пряжки. И пришлось пареньку стать взрослым.

«А куда ты денешься?!» – говорили ему старшие и прежде. Федя от безысходности стерпел и эти надругательства судьбы.

* * *

Через пару дней после бессонной ночи наедине с луной Федя Чикин устроился работать на новый керамический завод под Таллином. Хотя и был недоучившимся специалистом по античной литературе. И с этого дня началось: наступило время, когда каждое утро для Феде превратилось в радость и украсилось необыкновенным азартом. Но обо всем по порядку.

Федя страдал острой недостаточностью правды и хронически переживал несправедливость на Земле. Ему не ту давали роль, его не пускали туда, куда хотелось. Он постоянно ходил обиженным. И депрессняк был ему впрыснут в кровь, и организм вырабатывал гормоны недовольства. Федя искал железу, повинную в таком его унылом состоянии, и ощущение никчемности поедало Федин ум, и даже любовь – и та казалась ему отравленной.

«Я, наверное, неизлечимо болен. Но покажите мне здорового!» – находил, что сказать в ответ на неприятную самодиагностику Феде. И это открывало в нем еще одну сторону его талантов. Ироничность и довольно критическое отношение к окружающим в нем часто смешивались с приливами неожиданного альтруизма, сентиментальности и беспричинной радости от ощущения родства даже с таллинскими облезлыми кошками, что сидели в позах египетских сфинксов у помоек и ждали, что вынесут на этот раз им люди.

Внешне Федя мог кому-то понравиться, а мог вызвать недоумение. Поразительной к себе небрежностью. Носил никчемную саморастущую бородку и серую, каких немало на вещевых рынках, куртку из кожзаменителя. Немного сутуловат, и, казалось, робок в движениях. Не толстяк, и не тонок. Нос – картошкой. У него еще в юности врачами было вырвано два зуба. И много лет он языком нечаянно и механически ощупывал те места, где они некогда росли. И это стало привычкой. А глаза его – то серые, то голубые, говорили о нем, что натура он вполне живая, потому что в них, его глазах, отражалась какая-то другая и нездешняя жизнь и нечто еще от воображения.

Про то, что похоже на хойму

Теперь Федя выходил каждое утро на автобусную остановку к таллинскому кинотеатру «Космос». Он жил неподалеку, и эта остановка для него была самой ближней. Кроме него, дворников и таксистов, и редко когда одиночных не слишком трезвых прохожих, на улицах города никого в это раннее время не слонялось. Он жил почти что в центре столицы Эстонии, но в квартирке-трющобе, где сломана печь, дырявые стены, и тепла в доме не было.

В холодную балтийскую пору он спал, как альпинист, одетым, и все равно вставал в пять часов утра и бежал на автобусную остановку. А умывался на работе. И зубы успевал почистить, и под утренний шумок рабочих в раздевалке иногда стирал носки в мойке рядом с душевыми кабинками. И кушал после того скромно яблочко. Прямо у своей кабинки с личными вещами. Потому что у него не хватало денег на нормальный обед. И в общий обеденный зал пока что не выходил. Нужные деньги он надеялся получить на новом заводике. Чтобы отдать их за квартиру. И купить себе новую курточку. А позже надеялся поднакопить на ремонт и привести в порядок печку и жилье, а также повесить новые шторы на окна.

А случилось вот что. Он, как обычно очень рано, поехал на городском автобусе к месту работы. На это уходило час и пятнадцать минут. И народ вокруг него пребывал в состоянии полусна. Но на работу стремился. Как заведенные машинки.

Федя знал свое место – конкретное сиденье в автобусе, и некоторые пассажиры ему были визуально знакомы: они так же, как и он, каждое утро спозаранку ехали вместе с ним этим же маршрутом и тем же автобусом.

И если глядеть со стороны, мир катился обычной каруселью мелькающих за стеклом фонарей, полуголых осенних деревьев, густо смоченных чернотой глухого ноябрьского утра. И темное балтийское небо заполняли чернильные облака. Как легкие на флюорографии. В автобусе едва мерцали слабые синие лампочки, тени сновали по лицам пассажиров. И каждый был сам по себе. И походил на пациента, ждущего своей очереди в приемной у врача. Нарушал дрему жизни водитель, объявляя то и дело по микрофону очередную остановку. А выходило, он как бы из ковшика обливал сонных пассажиров холодной водой равнодушной реальности.

– Хойму! – сказал водитель не своим, а искаженным и с треском голосом через передающее устройство.

Эстонского языка Федя толком не знал, но всегда испытывал любопытство к различным звукам и необычным их сочетаниям.

– Что еще за «хойму»? – удивился Федя. – Надо же придумать такое: «хойму»!

Федя всегда о чем-либо думал, когда ехал в полутемном автобусе на работу. И дорога была прежней. А вот только сейчас обратил внимание на странное название какой-то попутной и почему-то пустой остановки. Люди здесь по утрам не ходили. Каково же было удивление Феде, когда через минуты четыре пути водитель на подъезде к очередной остановке опять объявил: «Хойму».

«Померещилось мне, – подумал Федя. – Не жизнь, а сплошное хойму!»

И он с нетерпением стал ждать следующей остановки и того, что скажет на этот раз водитель. А тот возьми и ляпни снова, как заведенный: «Хойму!».

Что-то здесь не так. Федя, парень с глубокой интуицией, ощутил это остро. Он слышал, что о нем, бывало, поговаривали разные люди. Называли непредсказуемым. Сам он, правда, этого за собой не замечал. Но имел глубокое убеждение в том, что окружающий мир, наоборот,

содержит в себе много чего непонятного, бывает, и непредсказуемого. И на его глазах происходило что-то невероятное.

За стеклом автобуса оставалась темень глубокой осени. Промокший ночью малолюдный район, вытянувшиеся по обе стороны дороги частные одиночные дома, сосны, облезлые деревья и кое-где огоньки дышали холодом чужого и никем не изведенного мира. И Федя теперь точно знал, что опять объявит водитель. И потому без всякого приглашения он вышел, а того вернее, как бы выпал из автобуса на следующей, уже четвертой остановке. И не удивился, когда еще до открытия дверей водитель вновь проскрипел в микрофон: «Хойму!». Это был знак.

Что-то неведомое и, конечно, невидимое приглашало Федю к себе и тем самым чрезмерно настойчиво предлагало ему нарушить однообразие. И он знал, что в это же время никто из пассажиров ничего не понял и даже ничего подозрительного не слышал. Они были в своем полусне. И они, очевидно, внимали совершенно другим звукам. И для них, возможно, водитель говорил другие слова. Например, после «хойму» звучало «кааре», затем «ыйму» или «хийю». А потом все-таки опять что-то похожее на «хойму».

Незнакомая для Федя местность представляла собой обыкновенный пригород Таллина – города контрастов, где дух средневековья смешивался с парами евробензина, а серый камень – со стеклом и бетоном всеобщего отчуждения. И в этом состоял весь комфорт местной жизни, сдобренный ванильными булочками и запахом кофе.

В первую минуту Федя не знал, что делать дальше и куда идти. Он не стал провожать тоскливым взглядом автобус. И не побеспокоился о том, что опоздает на работу. Он подумал, что кто-то очень сильно похожий на него поехал на работу. И никто ничего не заметит. Но ему пришла на ум мысль, что он теперь вовсе и не Федя, а Ричард.

В кои веки это случилось! Изменился мир, и утро стало другим. А Федя почувствовал, что он все-таки по-настоящему Федя, но здесь почему-то – Ричард.

И пошел куда попало. В глубину чужой местности. Сырость его не смущала. Но прилипшие к ботинкам мягкие и мокрые иголки от местных сосен, глухие звуки просыпающего мира говорили о том, что во Вселенной ничего не изменилось, и время бежало своим ходом.

Первым на его пути, когда он шел уже вдоль какого-то забора, попался невзрачный старик, опрятный эстонец. И Федя вытворил невероятное. Он сходу нарочито задел плечом прохожего. И замер в ожидании, каков будет у того ответ. Ричард дерзко глянул в лицо незнакомца, потому что прохожий, задетый за живое, остановился рядом. И что же? Старик посмотрел на Федю ласково и даже улыбнулся. И заговорил с ним на эстонском языке, а может быть, и по-немецки.

Федя понял, что прохожий перед ним извиняется. Это крайне удивило Ричарда-Федю. И следующий его поступок в обычной среде был бы похож на шутку или на несусветное хамство: Федор бесцеремонно обшарил старика по карманам, нашел что-то похожее на деньги. Эстонские кроны, евро и доллары! Нахально улыбаясь, Ричард переместил выручку в карман своей куртки.

А старик подобострастно, и как бы помогая наглецу, стал рыться во внутренних карманах своего плаща и достал приличный бумажник, демонстративно открыл его, нащупал там еще несколько купюр и передал их, радостный, Феде. Ричард, он же Федя, на такой жест оскорбился. Продолжая куражиться над беззащитным человеком, он грубо отнял у старика весь бумажник. Эстонец, а то, может быть, и немец или финн, вскинул руки к груди и стал как бы благодарить своего грабителя вместо того, чтобы просить о пощаде.

– Ты что? Издеваешься? – Федя пристально посмотрел в глаза незнакомца. И увидел, что тот не врет. И в его глазах нет никакого страха.

«Наверное, какой-то дурак, – решил Федя про мужчину. – Из ума выжил на старости лет. Вот и все объяснение. Но он-то что здесь делает?!»

Неожиданная податливость прохожего заставила Ричарда насторожиться. И он подумал, нет ли в этом Хойму какой-то против него засады? Сверкнув гневно глазами в старика, Федя быстро перебежал на другую сторону улочки – к забору, который показался достаточно низким для того, чтобы в случае чего перемахнуть через него и скрыться от возможного преследования. А Ричарда никто не преследовал. Он снова остался один-одинешенек. И только подумал, а почему это здесь не светлеет? И нахлынуло чувство опасности.

«Ричард ты деланный! А не Федя, – подумал он про себя. – То есть Федя ты чиканутый! Значит, малость того, чокнутый. Куда же ты попал? И что теперь будет? Уволят тебя с работы, как пить дать, уволят!»

У Феде неприятно засосало под ложечкой.

Захотелось обратно в автобус. Или в пустой вагон электрички. Она здесь где-то ходила, ее свистки доносились из-за дальних деревьев и домов. «Но если у меня работает слух и я даже чую, как смачно пахнут местные сосны, а руками могу потрогать здешние лужи, значит, я совершенно нормальный человек!» – рассудил Федя-Ричард примирительно.

Живший в нем некогда литературный критик, будучи не востребовавшимся, превратился в ядовитую зануду и докучал ему вечным сопротивлением.

«Ты думаешь, что для порядочности и той же нормальности достаточно иметь нюх, зрение и способность к ощущениям?» – задал контрвопрос внутренний голос и двойник Феде. Вряд ли это был Ричард. Федя ощутил себя в этой связи многогранным, посвежевшим и даже воспрянул духом, поскольку он всегда имел вкус к умным рассуждениям. И потому часто бывало, мысленно сам с собой разговаривал. Эту вторую его привычку выдавали на челе две глубокие и не по возрасту морщины, часто взбухающие над переносицей бугры и от них еще одна поперечная морщина. Только сейчас лоб его как бы очистился, и почему-то ему стало легко. Он подумал: а не наблюдает ли кто-то за ним? И сам же поймал себя: он просто устыдился своей беспечности, или, лучше сказать, безответственности.

Ему вдруг открылось тайное значение и провокационность слова «хойму». Здесь, в этой скабрёзной местности, куда его нечаянно занесло, ему можно все. Так не бывает. В обычной жизни это запрещено. Но теперь все позволено и, может быть, для чего-то полезно.

Это ощущение стало перерастать в уверенность, когда по другую сторону забора и в глубине сада он увидел молодую женщину, развешивающую отстиранное белье. И чтобы закрепить свое разумное, то есть принадлежащее к миру мыслей, открытие вескими материальными аргументами, Ричард в одно движение перепрыгнул через забор. Сломив, было, отрезвлявшие его сомнение и робость, он решительно направился к женщине.

Она заметила Ричарда в пяти шагах от себя. И улыбнулась приветливо. А он подошел совсем близко и неожиданно обхватил ее двумя руками, бесцеремонно поцеловал в губы и стал лапать, где попало. Она совсем не сопротивлялась, напротив, прижималась к нему. От нее веяло теплом и чистотой.

Он разошелся: свободной рукой проник под халат, добрался до трусиков и там, то есть уже под ними, властно потрогал незнакомку. У него кружилась голова. Он пылал от восторга и готов был получить мокрым бельем по мордасам. Он ожидал, что сейчас кто-то выскочит из дому и даст ему как следует по зубам, а получится, так сломает в отместку за его неслыханную дерзость и позвончик. Или отобьет всмятку все то, что у Ричарда болтается между колен.

Молодая женщина с красивым и мягким лицом, будто родная и давно знакомая, едва уклонялась от ласк негодяя, что говорило лишь в пользу ее стыдливости и непорочности. Гнева в ней не сверкало. И это изумило невесть откуда свалившегося на Федю насильника. Он тут же укротил себя, то есть восставшую в нем дурь. Он растерянно смотрел в глаза женщины. И она отвечала виноватым взглядом, но в уголках ее губ оставалась улыбка. Только в этот момент Ричард заметил людей в соседних дворах. Они там что-то делали, наверное, возились по хозяйству, собирались колотить и пилить дрова и не обращали абсолютно никакого внимания на события, со стороны достаточно очевидные, – на то, что вытворял Ричард, то есть совсем распоясавшийся Федя.

«У! Какие бессердечные!» – подумал он о них неодобрительно.

– Ты кто? – спросил он угрюмо женщину.

– Лиля, – ответила она нежным голосом и опять улыбнулась.

– А я... а я – Ричард! – соврал ей Федя. – А что ты здесь делаешь? – спросил он, гася совершенно глупым вопросом свое недоумение. И понимал, что находится в какой-то аномальной зоне, о которой никто никогда прежде ему не рассказывал. И многолюдный древний Таллин, выходило, так и не знал, что творится на его окраинах. А откуда людям было знать, если никто ничего никогда не рассказывал честно не только о жизни в пригороде, но и том, что происходит в центре столицы по ночам, и что творится в ее старых башнях и средневековых домах?! А вот в спальных районах картина складывалась совсем иная. Там – обычные бытовые сцены, а на улицах – автомобильные пробки, если, конечно, судить по полицейским сводкам, опубликованным в местных газетах. Федя газет давно не читал из филологического презрения к их бездарному стилю и мути вместо информации: «Ни одного Цицерона!» – сетовал он на это.

Женщина, оказалось, хорошо говорит по-русски. Она как ни в чем не бывало сияла и радушно приглашала Ричарда-Федю зайти тотчас к ней в дом. И он подумал, что в доме есть то, что можно украсть или хотя бы нагло отнять. И еще там можно завалить эту милую стройную женщину на кровать и сделать с ней все, что захочешь. Но его обескуражило странное поведение Лили. Ему стало очень стыдно. А она, вместо того чтобы залепить в ответ на его недавнее хамство жгучую пощечину, ласково погладила его волосы и еще раз пригласила зайти в дом, указав рукой на порог.

Он подумал, что там сейчас за столом сидят, выставив перед собой кулаки, крепкие и серьезные мужчины, поэтому Лилечка так хитро его и заманивает. А в доме его жестоко и сразу искромсают кривыми ножами, а потом закинут в подвал, где стоят бочки с квашеной капустой и банки с солеными огурцами. Он увидел это мысленно: валяющегося себя, как тряпчатая кукла, подле бочек, без чувств, с подвернувшимися ногами, представил и свои нелепо вывернутые при этом подошвами вверх ботинки с прилипшими к ним комочками глины и сосновыми колючками.

Тем не менее, внешний вид женщины Фединых опасений не подтверждал. Она оставалась мягкой и нежной, какой и была с первой минуты Фединой экспансии. И Ричард не смог придумать ничего лучше, как снова нахально прикинуть к ней и целовать, словно приклеенный к ее губам. Ему показалось, она хоть и робко, но ответила. А может быть, просто решила по такому срочному делу научиться целоваться с незнакомым мужчиной.

«А что будет, если я сейчас ее ударю? – подумал Федя. И ему стало неприятно. От себя самого. – Когда же я избавлюсь от грязи в себе?!»

На этот вопрос Ричарду никто не мог ответить экспромтом. В то же время Лиля его успокаивала, говорила нежные и утешающие слова, а он стоял перед нею опустошенный, понурился, и чувствовал, что слезы катятся по его щекам. Он лизнул бегущую влагу из глаз и узнал языком, что она у него соленая. И захотелось ему невыносимо в этот миг провалиться сквозь землю. И земля приняла.

...Водитель автобуса проскрипел в микрофон: «Лаагри!». Федор очнулся и, решительно приказав себе: «Давай на выход!», раньше всех выскочил в первую дверь на остановку. Он отчетливо сознавал, что секунду назад был где-то в другом измерении. Но теперь требовалось быстро переходить скоростную дорогу и смотреть по сторонам, чтобы не сбила машина, и далее бежать через поросшее бурьяном огромное поле с канавами – опережать других, таких же, как он, прохожих, теперь уже точно проснувшихся.

...Встречный тугой ветер не позволял догнать идущего впереди человека, который шел неспешно, широко и прямо, и руки при этом – в карманах. Вот точно как Петр Первый на картине. И каждый его шаг, и каждая минута и секунда на земле, Феде так показалось, принесли ему чувство собственной значимости и преимущества. И Федя усиленно махал руками, семенил ногами – потому что хотел догнать идущего впереди человека и посмотреть ему в лицо.

Федя это делал от злости, потому что сильно сердился: как бы ни напрягал он свой шаг, а неизвестный мужчина все равно оставался впереди и на приличной дистанции. И небо висело все тем же осенним, мрачным и темным. И еще другие люди из автобусов так же спешили к рабочим местам – различных мелких и крупных фирм под Таллином в Лаагри в последние два-три года открылось очень много.

Прочих Федор обгонял, как заправский ходок. Он искал опоры под ногами. И всматривался в небо. Ему не хватало света. Свет будет закрыт от него весь день. И с работы возвращаться ему предстоит опять в темноте. И так каждый день, и каждое утро. До самой весны. За мраком дальних дремучих лесов рассвет можно было лишь подразумевать, но чтобы он стал видимым для Феде, далеко еще было. Зато тучи низкие, такие, что и рукой можно запросто хватать их сырые рваные хлопья, скрывали звезды, а ветер нещадно гнул траву в полях и прогибал, как хотел, Федино сопротивление.

«Где-то есть твой рассвет, и утро твое настанет», – говорил ему внутренний собеседник, а Федя сейчас в это никак не мог поверить. И темнота давила на него, да так, что соки выжимала из человека и слезы иссекала на его глазах, горящих сопротивлением и жаждой дойти до цели.

...У стеклянных и хорошо освещенных дверей на завод Федя издали узнал шедшего впереди него человека – того, кто не давал ему обогнать себя. Мастер Валера легко укатывал Федино упрямство данным от природы физическим превосходством.

В раздевалке один из рабочих сидел полуголым и нюхал не стиранные сто лет носки. Это был Анатолий, Толян, он же Прапорщик, потому как в прошлом служил в советской армии. Армия ушла, Эстония – осталась. Вместе со многими оставшими военными, в основном, конечно, из русских.

Федина кабинка для одежды была рядом с кабинкой этого чудаковатого мужика. И запах его носков смущал обычно не только Федею.

Но пока что людей с первыми автобусами прибыло мало, мужчина мирно занимался исследованием мануфактуры.

– А я все думаю, откуда идет запах чая? – пояснил он свое занятие.

Федя рассмеялся. Он всегда стеснялся сказать этому мужчине насчет вонючих носков. А вот парни, чьи кабинки находились чуть поодаль, те не смущаясь, так иногда и рубили с плеча:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.